

Французский кризис и британские выборы открывают новый сезон в европейском политическом цикле

(начало на 1-й стр.)

В русле текущих дебатов в Германии, Вольфганг Шойбле также признаёт, что немецкая политическая культура, сформировавшаяся под влиянием катастрофы нацизма и поражения во второй мировой войне, накладывает свои ограничения. Находясь под американской защитой, Германия во время холодной войны не могла и не хотела вмешиваться во внешнюю политику и политику безопасности; заняв позицию «всезнающих моралистов», можно было даже критиковать Америку, «чтобы показать, что мы извлекли уроки из нашего прошлого». «С учётом нашей истории сдержанность в политике безопасности вполне объяснима», но это уже не соответствует новым стратегическим условиям; война России на Украине стала «своего рода ускоренным курсом» политического реализма. Прошлое больше не может быть «фиговым листком для постоянного ухода от ответственности за собственную безопасность и безопасность Европы». С точки зрения Шойбле провал попыток Парижа и Берлина сдержать Москву до 24 февраля 2022 года должен рассматриваться как своего рода «момент Мюнхена»; теперь следует признать, что «сдерживание – лучшая форма поддержания мира».

Таким образом, и с точки зрения Шойбле, *Zeitenwende*, смена эпох, требует перевооружения Германии и Европы, а также политического руководства, способного «убедить население» принять такую постановку вопроса, которую коллективная психология послевоенной эпохи всячески избегала: «безопасность мира не достигается нулевой ценой», «*si vis pacem, para bellum*», «каждое дело имеет моральную цену».

Вопрос требует более широкого рассмотрения. Необходимо учитывать дилеммы немецкой политической культуры в новых условиях кризиса порядка, сопоставить решения Берлина с аналогичными процессами в Токио – своего рода японским зеркалом, отражающим общий для обеих стран разрыв с послевоенной стратегической культурой, – а также оценить реакцию Франции на новые военно-политические амбиции Германии. Если одно это уже подразумевает трансформацию франко-германских отношений, то теперь весь процесс усложняется неизвестными последствиями французского кризиса, учитывая совранистскую и евроскептическую политическую основу Национального объединения Марин Ле Пен.

В «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс писали, что политически раздробленная Германия преодолевала своё практическое бессилие на уровне теории; существовала диалектика между филистерством – узким, отсталым менталитетом, господствовавшим в социальной психологии буржуазии, – и вершинами, достигнутыми её интеллектуальным меньшинством в культуре и философской рефлексии. Одним из проявлений этой диалектики было восхищение французским политическим гением: Гегель видел в Наполеоне в Йене «дух мира» на коне; по мнению Гейне, «французы совершают революцию», в то время как «немцы мечтают о ней».

Объединение Германии осуществилось только в 1871 году и в форме революции сверху, причём под давлением Пруссии, а не Рейнской области, что сделало страну запоздавшей нацией. Гению Бисмарка, с его *overlapping alliances*, пересекающимся и накладывающимся союзам, удалось добиться принятия Германии в концерт европейских держав в качестве «удовлетворённой державы», но этот результат не выдержал проверку новыми условиями империалистического созревания. Историю Веймарской республики и нацизма после поражения в первой мировой войне можно расценивать как попытки германской буржуазии найти на ощупь решение империалистической демократии, через переходную формулу несовершенного плюрализма – нацизма.

Базовым исследованием немецкой политической культуры в связи с международной политикой является книга Михаэля Штюрмера «*Die Grenzen der Macht. Begegnung der Deutschen mit der Geschichte*». История и политическая культура Германии прошли путь от бессилия раздробленности в XIX веке до мощи, не ощущающей собственных пределов, в империалистическом XX веке. В этом колебании проявляется неадекватность политической культуры, которая неуклюже справляется с политико-стратегическими вопросами.

Объективной основой этого состояния является, по Штюрмеру, *немецкий вопрос* как сочетание геополитических условий Германии: во-первых, положения центра континента, слишком сильного, чтобы его не считали угрозой, но недостаточно сильного, чтобы объединить его под своим господством; во-вторых, политики равновесия в рамках европейской системы: *великий замысел Ришелье* и Вестфальский мир после Тридцатилетней войны; разделение Германии как условие европейского равновесия.

В начале 1990-х годов, после стратегического водораздела в связи с распадом СССР и воссоединением Германии, Штюрмер пришёл к выводу, что возвращение Германии к полному суверенитету после десятилетий ялтинского раздела должно было учитывать уроки истории, как в отношении *немецкого вопроса* в европейском равновесии, так и в отношении ограниченности политической культуры при столкновении с категориями власти и *Realpolitik*. Германия не должна была восстанавливать свой суверенитет в одиночку, в рамках *Sonderweg*, особого и самостоятельного пути, её стоило действовать только в рамках союзов: в Европейском союзе, начиная с Рейнской оси с Францией, и в Североатлантическом союзе для стратегических отношений с Соединёнными Штатами.

К этому можно добавить, что после второй мировой войны, в результате военной катастрофы и американского влияния доминирующая политическая культура отказалась не только от понятия *политического реализма*, но и от идей *национального интереса* и *патриотизма*. Во второй половине 1980-х годов «*прошлое, которое не проходит*», становится предметом спора между историками ("*Historikerstreit*"): ревизионистское течение, которое с позиций *Realpolitik* пересматривает немецкую историю и её преемственность, – в их числе были Андреас Хильгрюбер и сам Штюрмер, – противостоит либерально-прогрессивной школе, которую можно назвать *Moralpolitik*. Последние обвиняли первых в релятивизации “абсолютного зла” нацизма; Юрген Хабермас, среди прочих, утверждал, что в отношении Германии можно было говорить только о «*конституционном патриотизме*», закреплённом в Основном законе 1949 года.

В годы восстановления и *экономического чуда* бытовало мнение, что немцы, в отсутствие возможности выразить патриотизм нормальной нации из-за эпизода нацизма, реализовали своё чувство принадлежности за счёт провинциалистской концепции *Heimat*, родины как месте рождения, и в *патриотизме марки*, гордости по поводу экономических успехов Западной Германии и силы её валюты. На уровне экономической теории и идеологии выразителем концепций *Ordnungspolitik* и *социальной рыночной экономики* в составе правительства стал Людвиг Эрхард, занимавший проатлантические и пробританские позиции, – Конрад Аденауэр его переносил с трудом, считая лишённым политического чутья. В этом либеральном экономизме, как и в провинциализме, за который в те годы клеймили многих немецких лидеров, можно распознать возрождение *филистерства* немецкой буржуазии. Здесь же мы видим и корни концепции внешней политики как *Wandel durch Handel*, изменений через торговлю, – сегодня она воспринимается как иллюзия, “вегетарианское” заблуждение в мире, который вновь стал плотоядным и *гоббсовским*.

Но насколько эта недостаточность могла обременять немецкую стратегическую культуру? Здесь необходимо рассмотреть и свести воедино ряд оценок, которые лишь формально кажутся противоречивыми. Мы уже сталкивались с тезисом Гельмута Шмидта, который в книге "*Menschen und Mächte*" (1987) считал, что в ходе своего канцлерства он вывел Германию из статуса *экономического гиганта и политического карлика*, вернув её в число игроков мировой политики. Содержание нынешних дебатов в Германии, в которых ограниченность немецкой стратегической культуры обсуждается всё в тех же терминах, к которым тридцать лет назад обращался Штюрмер, позволяет предположить, что достижение, на которое претендует Шмидт, не было окончательным или, во всяком случае, является недостаточным в новых условиях *кризиса порядка*.

Кроме того, мы уже приводили мнение Йозефа Йоффе насчёт воссоединения: Германия двигалась на международном уровне в соответствии со своей особой позицией, которая исключала принятие политических решений, но позволяла её экономической силе оказывать политическое влияние. Сославшись на этот тезис в мае 1991 года в статье “Неопределённые силы европейских держав”, Арриго Черветто показал, что принял его во внимание. Гельмут Коль ускорил темпы восстановления германского единства, сыграв на американской заинтересованности в сохранении Германии в Атлантическом союзе, добился

одобрения Парижем усилий по созданию федерации ЕС на основе монетарной власти и заручился согласием Москвы, когда СССР был измучен экономическим кризисом и гонкой вооружений, гарантировав Михаилу Горбачеву жизненно важную финансовую поддержку. Однако такая комбинация благоприятных факторов вокруг экономической мощи Германии была бы немыслима без распада СССР и исключения его военно-политической мощи из уравнения баланса сил в Европе. Уникальное условие, из чего следует, что простая опора на экономическую мощь для влияния на политическую динамику других стран является не доступной более для Германии игрой.

В начале 1980-х годов Черветто, говоря о линии японского премьера Ясухиро Накасонэ, даёт ей весьма обязывающую оценку, аналогичную той, которую дал Шмидта в отношении Германии: Токио уже стал *политическим гигантом* в империалистическом противостоянии. Уже после первой войны в Персидском заливе, в 1991 году, Черветто исправил и обновил эту оценку, указав на *«крушение»* линии премьер-министра Тосики Кайфу, который оказался неспособен преодолеть внутреннюю оппозицию военным инициативам. Позже в своих мемуарах Накасонэ сам писал о *«провале»* полувековой японской внешней политики, ориентированной на *доктрину Ёсиды*: что-то сродни *Wandel durch Handel* послевоенной Германии, небольшие шаги во внешней политике под прикрытием японо-американского альянса, сопровождающие экономический подъём Страны восходящего солнца.

Мемуары Накасонэ на фоне острого политического кризиса в Токио заставили нас в 1998 году определить трансстихоокеанские стратегические отношения между США и Японией как *«обязательный, асимметричный и неохотный альянс»*. Критикуя провал *доктрины Ёсиды*, Накасонэ, по сути, признавал и свой собственный провал – неспособность его собственного течения преодолеть *«пассивность»* подхода, в котором приоритет экономики сопровождался отказом от стратегической автономии.

Как мы отмечали в 1998 году в комментарии об исторических дебатах вокруг внешнеполитических линий Японии в XX веке, *фракция анти-Ёсида* достигла своего апогея в 1957–1960 годах в правительстве Нобусукэ Киси. Эта попытка закончилась драматическим кризисом 1960 года, пересмотром Договора о безопасности между Вашингтоном и Токио, который, однако, не привёл к *«взаимности»* в японо-американских отношениях. Эта цель хорошо подытожила *«двойственную природу ревизионизма Киси, который намеревался ренационализировать японскую внешнюю политику, но с точки зрения отношений с Вашингтоном»*.

Важно отметить, что сегодня линия Синдзо Абэ на перевооружение Японии, завершаемая Фумио Кисидой, является реализацией стратегических намерений Накасонэ и Киси. Можно сказать, что для реализации линии Накасонэ потребовалось сорок лет; в этом есть доля правды, но этого недостаточно. Дело в том, что Токио пришлось пройти через два *стратегических рубежа*. Один в 1991 году, когда произошло *крушение* Японии и она погрузилась в десятилетие экономического застоя и политической нестабильности, с кризисом доминирующей партии ЛДП, не лишённым *«итальянских»* черт. А сегодня – это *кризис порядка*, вызванный изменением стратегических пропорций в отношениях с Китаем.

Japan Times пишет, что новая стратегическая доктрина Японии – это *«исторический поворот»*, и что *«контратакующий потенциал»*, который обретёт Токио с развёртыванием 1000–1500 ракет средней дальности, меняет историческую структуру японо-американского альянса, где Япония была *«щитом»*, а США – *«копьём»*. Индийский аналитик Раджа Мохан, возможно, несколько преувеличивая, настолько хвалит японский поворот, что изображает Токио чуть ли не достигшим стратегического паритета с Вашингтоном.

В этом свете, и, несомненно, после проверки дальнейшим ходом стратегической борьбы, тезис 1998 года об американо-японском союзе как *обязательном, асимметричном и неохотном* должен быть обновлён. В то же время подтверждается, что шаг в направлении японской стратегической автономии происходит через трансформацию альянса. Аналогично, если говорить о западной шахматной доске, с 1990-х годов мы помещали в центр нашего анализа тенденции, направленные на *трансформацию Североатлантического альянса*, то есть именно на призыв Шойбле к *трансатлантической взаимности*.

Для расшифровки японских дебатов мы использовали образ и методологический инструмент *корейского зеркала*. Он позволяет найти в более откровенных дебатах в Сеуле, посвящённых сдерживанию или *ядерному пороговому условию*, вопросы, которые

замалчиваются или на которые неуловимо намекают в Токио. Точно так же можно говорить о *немецком зеркале* или же о *японском зеркале*: в Японии мы находим ссылки на немецкие дебаты о *Zeitenwende*, а в Германии и Европе – элементы японских решений, особенно по вопросу *контратакующих сил* и развёртывания ракет.

Приходится задаваться вопросом, в каких терминах и в какой степени требуют обновления также и тезисы о Германии и франко-германской оси как о двигателе ЕС. С одной стороны, различия с Японией начинаются с оценки последствий стратегического рубежа 1991 года. Для Германии он означал воссоединение, а для Европы – начало федерации евро и регионального пространства, организованного как политический союз. Мы всегда рассматривали это различие элементом наибольшей слабости Японии.

С другой стороны, перед Германией и ЕС возникают те же стратегические вопросы, что и перед Токио, касающиеся отношений с Соединёнными Штатами и надёжности американских союзнических обязательств. Здесь, как ни парадоксально, Япония имеет преимущество в скорости принятия и исполнения решений, поскольку является унитарным государством, в то время как ЕС страдает от медлительности и неполноты полуфедеральной *плюралистической надстройки*, сочетающей федеральные, конфедеральные и национальные власти.

Что касается вопроса о немецком *стратегическом дефиците*, то дебаты по этому поводу начались ещё в 2017 году с началом президентства Трампа и знаменитой *пивной речи* Ангелы Меркель: времена, когда можно было полностью положиться на США, прошли, «мы, европейцы, должны действительно взять нашу судьбу в свои руки». Дебаты были ускорены в феврале 2022 года украинской войной и *Zeitenwende*, сменой эпох, провозглашённой Олафом Шольцем одновременно с выделением 100 миллиардов евро на оборону. Среди наиболее показательных выступлений можно отметить книгу Кристиана Мёллинга *“Fragile Sicherheit”* (“Хрупкая надёжность”), где ставится вопрос о сроках. Он пишет о 6–10 годах, прежде чем Россия восстановит свои силы после войны, выступает за «десятилетие политики безопасности», аргументирует «новый немецкий вопрос» в отношении роли Берлина в европейской обороне и видит бундесвер вернувшимся к роли «самой мощной конвенциональной армии» в Европе.

Что касается перспектив «*рейнской оси*», то основополагающей является тревожная оценка Тьерри де Монбриаля из Французского института международных отношений (IFRI) в связи с разворачивающимся конфликтом на Украине. Давайте перечитаем: Германия не свела счёты со своим прошлым, что объясняет атлантистскую мобилизацию; берлинская концепция роли Германии в Союзе «*эволюционирует по ходу событий, возможно, приближаясь к традиционной точке зрения*»; исторические ориентиры влияния Германии испытывают тяготение к северо-востоку; после окончания войны и возрождения старых исторических констант нельзя исключать, что Германия и Россия восстановят «*близкие отношения*».

Эти тревоги мы находим в марте 2024 года на страницах *Le Monde*: аналитики и творцы международной политики опасаются, что перевооружение нарушит франко-германский баланс и поставит под вопрос негласный пакт о разделении труда между Францией и Германией, в котором Парижу будет принадлежать военно-политическое первенство, а Германии – экономическое.

Можно попытаться подвести предварительный итог. Тезис о немецком *стратегическом дефиците* является повторяющейся и доминирующей темой в Германии; в *японском зеркале* это оценка соответствует диагнозу Накасонэ в отношении *доктрины Ёсиды* в 1990-х годах. Именно протагонисты немецкой политики утверждают, что либеральный экономизм послевоенной политической культуры, усиленный переломом 1989–1991 годов и американистской иллюзией *конца истории*, больше не является достаточным. В этом смысле пересмотр как тезиса Шмидта о достижении Германией стратегической зрелости, так и тезиса Йоффе об эффективности экономического обхода процесса принятия политических решений вытекает из самой немецкой дискуссии.

В *японском зеркале*: как Токио достигает или думает, что достигнет стратегической зрелости, к которой безуспешно стремился в 1980-х годах Накасонэ, так и доминирующие течения в Берлине считают, что им нужно привести Германию к роли стратегического игрока, как того хотел Шмидт. Это в перспективе изменит отношения с Вашингтоном и

Парижем: наряду с понятием *трансформация атлантических отношений* необходимо ввести понятие *трансформация франко-германских отношений*.

Можно выдвигать различные гипотезы о том, как будет развиваться эта двойная трансформация, учитывая, что выявить тенденции возможно, а предсказать события – нет. Можно предположить, что вес немецкого атлантизма и сохранение послевоенной экономистской политической культуры, нового проамериканского воплощения *филистерства*, не позволят этой двойной трансформации в Германии полностью осуществиться. Европа столкнётся с *кризисом порядка* в условиях стратегического дефицита, и когда это произойдёт, её централизация подвергнется критическому испытанию. Или же, преодолев хотя бы частично ограничения своей стратегической культуры, Германия продолжит укреплять свои вооружённые силы, и в результате пересборки отношений с Парижем франко-германская ось вновь сможет выступить в качестве движущей силы. Под прикрытием своего *ядерного порогового состояния* Берлин проведёт следующее десятилетие в этом стратегическом восстановлении и в двойной трансформации отношений – атлантических и рейнских. В то же время другие ключевые игроки, такие как Польша, Италия и Испания, могут быть вовлечены в процесс создания *Европы-державы* как европейской опоры НАТО.

И снова: нельзя исключать ускорения под давлением углубления *кризиса порядка*, начиная с ракетной конфронтации с Москвой. Три направления дискуссий, предложенных Парижем, – воздушный щит, ракеты средней дальности и ядерное сдерживание – могут быстро привести к соглашению о франко-британских *европейских силах сдерживания*, закреплённых за ЕПС, Европейским политическим сообществом, в котором Лондон сможет управлять своим сближением с Евросоюзом.

Нельзя исключать и другие сценарии; остаётся маловероятным крайний из них, в котором Берлин под влиянием американского кризиса и потери атлантических гарантий откажется от условий *ядерной латентности* и выберет авантюру *немецкой бомбы*, что будет иметь сейсмические последствия для европейского баланса.

В итоге можно ожидать десятилетия европейской политико-стратегической борьбы, отмеченной поворотом Германии к перевооружению, различными вариантами *европейского сдерживания* и некоторой формой восстановления баланса между Парижем и Берлином. Оценка франко-германского процесса в соответствии со старой динамикой Рейнской оси, приписывание любых немецких оговорок атлантическому узлу или наследию меркантилистского *филистерства* была бы дезориентирующей.

На момент написания этой статьи исход авантюры, которую попытался провернуть президент Франции Эмманюэль Макрон с роспуском Национального собрания, нам неизвестен. “Ватерлоо” макронизма вполне вероятно, но остаётся узкая возможность коалиционного президентства, когда большинство объединит куски различных политических группировок, доступных для центристского понимания, либо на постоянной основе, либо на базе отдельных проблем.

Вне зависимости от исхода будут иметь значение следующие наблюдения. Французский кризис надолго запомнится европейскому циклу, потому что в новом политическом цикле *электоральных восстаний* президентализм обнаружил присущую ему дисфункциональность в обеспечении стратегического консенсуса. Поскольку слабость германской исполнительной власти более условна, а с ХДС-ХСС сохраняется значительное большинство, основанное на евроатлантическом консенсусе, это может усилить перебалансировку рейнской оси в пользу Берлина.

Недостаточно акцентируется внимание на том, что ни одна крупная сила в *федерации евро*, включая Национальное объединение Франции, больше не ставит под сомнение единую валюту. Если французский кризис может осложнить или поставить под угрозу перспективы создания федерального фонда европейского сдерживания, то факт остаётся фактом: даже совранистские течения принимают уступку суверенитета, связанную с *федеральной валютной властью*.

Затухание самых крайних евроскептических позиций также связано с провальным исходом Brexit. На момент написания статьи мы не знаем, насколько катастрофическим будет поражение Тори на британских выборах, но можно с уверенностью сказать, что этот результат связан с неудачными последствиями выхода из ЕС. Лейбористы не могут

позволить себе затронуть радиоактивную тему возвращения в ЕС, но сближение стоит на повестке дня Кира Стармера, и к нему призывает крупная пресса, связанная с Сити и ключевыми группами британского империализма. Сочетание линии европейского прагматизма в Британии и французского кризиса может реанимировать *Stille Allianz*, англо-германский молчаливый союз, тогда трёхсторонняя динамика между Берлином, Парижем и Лондоном вновь окажется в центре внимания. Европейский политический цикл вступает в новый сезон.

Июнь 2024 г.